

Чичерин Борис Николаевич

**Воспоминания Бориса
Николаевича Чичерина**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
Б82

Б82 **Борис Николаевич Ч.**
Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина / Чичерин Борис Николаевич –
М.: Книга по Требованию, 2022. – 130 с.

ISBN 978-5-521-30397-7

ISBN 978-5-521-30397-7

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2022

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2022

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

ВОСПОМИНАНИЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ГРАНИЦУ

В настоящее время путешествие за границу дело самое обыкновенное. При легкости и удобстве сообщений, едва ли найдется сколько-нибудь образованный человек, который бы не объехал почти всю Европу. Многие делали это даже по нескольку раз. Не то было в прежние времена, когда железные дороги еще не существовали, а русское правительство, особенно с 1848 года, делало всякие затруднения подданному, дерзающему преступить священные пределы отечества. В ту пору путешествие в чужие края было событием в жизни. На путешественника смотрели, как на человека вкусившего высших плодов просвещения. Его с любопытством расспрашивали обо всем виденном и слышанном. Рассказам не было конца.

Во время Восточной войны сношения с чужими краями сделались еще затруднительнее. Но с новым царствованием и с заключением мира, все препятствия разом исчезли. Двери отворились настежь, и вся Россия ринулась за границу. Я последовал общему течению. Это был целый новый мир, который открывался передо мною, мир, полный прелести и поэзии, представлявший осуществление всех моих идеалов. Чудеса природы и искусства, образованный быт стран, далеко опередивших нас на пути просвещения, наука и свобода, люди и вещи — все это я жаждал видеть своими глазами; я хотел насытиться новыми, свежими впечатлениями, представляющими человеческую жизнь в ее высшем цвете.

Ближайшею моею целью был Турин, где брат Василий состоял тогда первым секретарем посольства. Я не видал его два года, и это был, вместе с тем, случай взглянуть на верхнюю Италию и на политическое движение в Пьемонте¹, который сделался уже центром национальных стремлений итальянского народа. Туда я направился через Варшаву и Вену. До Варшавы не было

¹ Пьемонт — подножие гор, область сев.-зап. Италии перед объединением ее входившая в состав Сардинского Королевства.

еще железной дороги, и я тащился шесть суток в дилижансе, в компании с старой и вовсе не интересной генеральшей, которой единственная приятная сторона состояла в том, что она кормила меня разными явствами¹. Из Варшавы железная дорога перенесла меня в 24 часа в Вену.

Здесь я получил первое сильное впечатление от заграничной поездки. Это впечатление произвел не город, который, несмотря на свою красоту, ничем особенно не отличается от всяких больших городов в европейском вкусе и напоминал мне Петербург. Прекрасные здания, отличная мостовая, великолепный Пратер², господствующие повсюду законченность и чистота, к которым мы в России не привыкли, все это мне нравилось, но ничего не говорило уму. Впечатление произвело на меня первое знакомство с основательным немецким ученым. Случайно, на железной дороге, я разговорился с ехавшим со мною стариком, который сказал мне, что у него есть сын в Венском университете и дал мне к нему карточку. Я отправился к этому молодому человеку, а тот повел меня к Лоренцу Штейну. Около часу провел я у последнего в увлекательной беседе об общих научных вопросах, в особенности о недавно появившемся его учении об обществе. Я был совершенно очарован. После этого я отправился к нему на лекцию и по его приглашению повторял свои посещения. Мы с ним с первого раза сблизились, и впоследствии, всякий раз как я бывал в Вене, я обыкновенно вечера проводил у него в самых приятных и поучительных разговорах. Это не был тип чисто кабинетного немецкого ученого, тип, впрочем, весьма почтенный и интересный. Штейн, при большой живости ума, отличался замечательным разнообразием сведений и вкусов. Он был и философ, и юрист, и политико-эконом: он вел практические промышленные и финансовые предприятия, знал жизнь и людей. К этому присоединялись художественные наклонности: у него была весьма недурная картинная галерея. Тут я в первый раз почувствовал, что такое истинно-научная атмосфера, в которой живут люди, и которая побуждает их смотреть на вопросы спокойно и просто, видеть в них не дело партии или повод к ожесточенным препирательствам, а предмет серьезного объективного исследования. Я узнал человека самостоятельно работающего для науки, владеющего всеми ее средствами, открывающего в ней новые горизонты, но чуждого вся-

¹ О своем путешествии от Москвы до Варшавы в обществе г-жи Лошкаревой, вдовы ген.-лейт. и сенатора Григ. Серг. Лошкарева (1788—1849), Б. Н. Чичерин рассказывает подробно и с большим юмором в письме к Л. Н. Толстому из Варшавы от 2 мая 1858 г. (Труды Публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Письма Толстого и к Толстому, стр. 267—270)

² Главная улица в Вене

кой заносчивости, всякого шарлатанства и самохвальства. Самые ошибки являлись у него не плодом легкомыслия, хватающего верхушки, а результатом добросовестно обдуманной, хотя и недостаточно обследованной, мысли. Вместо рьяных споров, служивших только поприщем для бесплодной гимнастики ума, тут является возможность спокойного обмена мыслей, из которого выносишь полное умственное удовлетворение. После беседы с Штейном мне еще живее представилась вся пустота недавних наших прений с славянофилами, которые, едва прикоснувшись к западной науке, осуждали ее, как гниль, а себя считали глашатаями новых, неведомых миру истин.

Под конец жизни Штейн свихнулся. Практические его предприятия повели к тому, что он сначала приобрел порядочное состояние, а затем разорился. Имение его было продано с молотка. Вместо того, чтобы приписать это, как следовало, своей нерасчетливости или несчастному стечению обстоятельств, он, по немецкой привычке, возвел это в общий экономический закон и стал уверять, что поземельная собственность, вообще, непременно ведет к разорению. Несколько социалистические наклонности, которые были у него в молодости, но совершенно отпали в зрелых годах, снова выплыли под влиянием жизненных неудач, и он стал проповедывать идеи уже вовсе ненаучного свойства, которым он авторитетом своего имени давал вес и значение, тем самым поддерживая хаотическое брожение умов в современной Германии. В эту последнюю пору его жизни я его уже не видал, а потому сохранил о нем те воспоминания, которые я вынес из лучшей эпохи ученой его деятельности. Он скончался недавно¹.

В Вене я пробыл несколько дней и затем двинулся далее, через Венецию в Милан. Тут я испытал полное очарование. Вся дорога представляла для меня ряд совершенно новых, поразительных впечатлений. Проведая всю свою жизнь в убогой русской степи, я никогда не видал ни моря, ни скал. Здесь то и другое явилось мне в неведомом дотоле величии. Даже сидя в вагоне железной дороги, который менее всего благоприятствует впечатлениям природы, я не мог насмотреться на величественный переезд через Земмеринг и на прелестную долину Савы. Ночью я слез в Триесте на пароход, но уже ранним утром я был на палубе и тут меня впервые поразил вид гладкого, как зеркало, моря при восхождении солнца. Я весь погрузился в созерцание этой сияющей бесконечности. Было тихое и теплое майское утро; на небе не виднелось ни единого облачка. Пароход шел быстро; вот уже издали показались очертания земли. Наконец, перед нами пред-

¹ Л. фон-Штейн умер в 1890 г.

стала, как бы выходящая из моря, облитая весенним солнцем Венеция, с ее мраморными дворцами, с ее изящною архитектурой, то с стрельчатыми окнами, подобно готическим храмам, то с легкими колоннами и арками времен Возрождения. Мы пристали к площади св. Марка, и я, взявши номер в гостинице, тотчас побегал осматривать церковь и дворец. Это были минуты полного упоения. Я чувствовал себя как бы вынесенным вон из современной жизни и перенесенным на крыльях в область поэзии и искусства. Впервые архитектура произвела на меня обаятельное действие. Я долго стоял очарованный на внутреннем дворе дворца дождей, и не мог налюбоваться на удивительно тонкие и изящные украшения стен и на прелестные линии Лестницы Гигантов. И как-будто для оживления картины около цистерны собрались, с ведрами на плечах, молодые, красивые, грациозные венецианки в их национальном наряде. Я вошел в дворец, и тут передо мною в живых образах воскресла вся история Венеции: я видел пышно убранные комнаты с тяжело изваянными золочеными потолками, где заседали Большой совет и мрачный Совет десяти; на стенах изображались выигранные сражения, торжество победителей, старые дожи в их блестящих одеждах, венецианские сенаторы в их пурпурных мантиях, с их строгими и важными лицами. Такое же чарующее впечатление произвела на меня и венецианская живопись в Академии Художеств: «Вознесение Богородицы» Тициана, мадонны Беллини, Тинторетто, Веронезе, вся эта своеобразная пышность красок и образов. Венецианская школа в Венеции представляет не просто картинную галлерею, более или менее полную и богатую. Она составляет необходимое дополнение к самой Венеции, художественное изображение всего ее прежнего блеска и величия. И собор св. Марка, и дворцы, и каналы, и рассеянные по церквам и собранные в Академии картины старых живописцев, все это сливалось для меня в одно цельное, художественное впечатление, которое охватывало душу с тем большею силою, что оно являлось как бы тенью прошедшего, в резком контрасте с навевающим грусть настоящим. При заходе солнца я плыл по каналам и видел по обоим берегам пустынные дворцы, многие с заколоченными окнами; повсюду следы небрежности и разрушения. В большом городе царил безмолвие. Бесшумно скользящие по водам гондолы представлялись как-бы теньями, которые боялись нарушить эту торжественную тишину. Самая собиравшаяся по вечерам толпа на площади св. Марка двигалась безмолвно и уныло. И, как сторож этого кладбища, на внешней галлерее дворца дождей стоял австрийский пикет. На всем лежала печать какой-то печальной и величавой поэзии. У меня

от всех этих ощущений закружилась голова. Несмотря на природную склонность к живописи, я вовсе не был подготовлен к пониманию искусства. До тех пор я, в сущности, ничего не видал, а тут внезапно обрушился на меня целый мир изящных впечатлений в какой-то ослепительной роскоши, в таком изумительном разнообразии и богатстве, среди которых я совершенно терялся.

Через три дня я уехал и остановился в Милане, чтобы посмотреть на собор. И тут я получил одно из тех впечатлений, которые никогда не забываются. Осмотревши внутренность храма с ее массивными белыми столбами и стрельчатыми сводами, освещенными таинственным полусветом, я взобрался на крышу и пошел бродить среди целого леса стройных, изящно изваянных мраморных стрелок, любуясь кружевными узорами колоколни; и вдруг, на этой высоте, откуда взор беспрестанно простирался во все стороны, передо мной открылась вся цепь покрытых снегом альпийских гор, которых белые вершины ярко блестели на глубокой прозрачной лазури безоблачного южного неба. Это было зрелище поразительное и возвышающее душу. И природа, и искусство, все соединялось для того, чтобы унести ее в какой-то волшебный мир, полный чарующей красоты.

Наконец, я добрался до Турина, где меня встретил брат. После долгой разлуки, увидеться с ним было для меня сродни удовлетворением. Мы всегда жили с ним в тесной дружбе. Его ровный и спокойный характер, его общительный нрав, его мягкие и изящные светские формы, а с тем вместе высокий нравственный строй и отсутствие всяких претензий, делали его чрезвычайно приятным, как в домашней жизни, так и в общественных отношениях. Я на чужбине почувствовал себя вновь как-бы в своей семье. Брат тотчас представил меня нашему посланнику при Сардинском дворе, графу Штакельбергу, с которым он находился в самых дружеских отношениях, и с которым скоро породнился, женившись на его племяннице. Это был человек не отменного ума, но рыцарски благородного характера, старый военный, чрезвычайно живой, приветливый, общительный, с поэтическими наклонностями. Он очень недурно писал французские стихи. От него осталась даже целая поэма, под заглавием: Сильвия, с поэтическим описанием итальянской природы и романтической любви. Несмотря на свое остзейское происхождение и иностранное воспитание, он был патрист, любил говорить по-русски и в особенности ще голял знанием разных народных пословиц и поговорок, которые он, однако, обыкновенно перевирал. Это была маленькая смешная сторона в его возвышенной и симпатичной натуре. В Турине он пользовался общим уважением. Жена его, француженка, очень

неглупая, сдержанная, привлекательной красоты, царила в салоне, в котором часто собирались дипломаты.

Брат ввел меня и в дипломатический клуб, самое скучное собрание людей, какое я встречал в своей жизни. Говорю это не о туринском обществе, а вообще. После этого я во многих местах видел сборища дипломатов, и везде они производили на меня одно и то же впечатление. Я приписывал это самому их положению. Дипломат — человек, отоешившийся от живых интересов родного края и не примкнувший к другим, остающийся все-таки чуждым стране, в которой он случайно находится по своим служебным обязанностям. Всякая почвенная связь у него порвана; жизненное содержание исчезло, а взамен того приобретен светский лоск и умение говорить прилично о всяких пустяках. Невольно дипломат заражается салонными взглядами, самыми поверхностными и неверными из всех. К этому присоединяется то, что по самому своему положению он принужден избегать серьезных разговоров. Он не может высказывать откровенно свою мысль, а должен постоянно держать себя настороже, чтобы не проронить лишнего слова. В особенности, когда собраны вместе представители разных держав, имеющих совершенно различные дипломатические интересы, всякий живой вопрос по необходимости устраняется, и все ограничивается обменом поверхностных замечаний о светских пустяках. И это не искупается даже тем согревающим элементом, который вносят простые, домашние, дружеские связи в светское общество, имеющее местные корни. Случайно сходящиеся люди, облеченные броней дипломатической чопорности и светского приличия, соприкасаются чисто внешними своими сторонами, не имея между собою ничего общего. На постороннего человека, особенно привыкшего к живому и искреннему обмену мыслей, подобные собрания нагоняют невыносимую скуку.

В Турине было, однако, в то время нечто гораздо более занимательное, нежели дипломатические собрания. Он был центром самой живой политической жизни. Это была та пора, когда в Италии пробудилось национальное чувство, и все взоры обратились на Пизмонт, который решительно стал во главе движения. Как электрическая искра, пробежала по итальянским сердцам знаменитая фраза, сказанная Виктором-Эммануилом при открытии палаты: «Мы однако не бесчувственны к крику боли, который из стольких частей Италии поднимается к нам». Все, что было мыслящего и благородного в Италии собралось в Пизмонте, который один представлял убежище от невыносимого деспотизма, царившего всюду. Во главе сардинского правительства стоял

государственный человек первой величины, который с необыкновенною ловкостью и прозорливостью умел двигаться между опасностями и давать своему маленькому государству выдающееся значение среди европейских держав. Здесь были и парламентские учреждения, какими в то время не обладал ни один другой народ на европейском материке. На почве самой широкой политической свободы Кавур воздвигал будущее величие своего отечества, и все, что было истинно либерального в Европе с глубоким сочувствием смотрело на его начинания.

На следующий же день после моего приезда в Турин брат повел меня в палату депутатов, в дипломатическую трибуну. Я итальянскому языку немного учился в детстве, но устной речи вовсе не понимал. Тем не менее, самый вид парламента и происходившие в нем политические прения произвели на меня глубокое и возвышающее душу впечатление. Я видел перед собою людей, от которых зависели не только судьбы отечества, но некоторым образом и самые судьбы мира: знаменитого Кавура, с невзрачною наружностью, маленького, толстенького, в очках, но с необыкновенно умным и проницательным взглядом, тогдашнего его союзника Ратацци, благородную фигуру военного министра Ламармора, вождей правой и крайней левой, Ревеля, Депретиса, Броффериио. Я слушал их то страстные, то сдержанные речи. Вся парламентская процедура, это свободное обсуждение высших интересов государства не в тайне бюрократических совещаний, а перед лицом всего народа, живо меня занимала, и я много раз возвращался в это святилище, думая: придется ли когда-нибудь видеть нечто подобное в моем собственном отечестве? Увы, мне уже и тогда это казалось несбыточною мечтою. То, что я оставил позади, слишком далеко отстояло от того, что представлялось моим взорам. Я с жадностью принялся и за чтение итальянских газет. В первый раз мне доводилось находиться в самом средоточии живой политической жизни. Это был уже не отголосок, приносящийся из каких-то отдаленных стран, а постоянный, ежедневный, волнующий интерес окружающей среды. И этот интерес осуществлял в себе высшие начала общественной жизни и открывал самые широкие и заманчивые горизонты в будущем. Вместо предсмертных судорог развратного старичишки, как выражались славянофилы, я видел возрождение юного, полного сил народа, которому предстояла великая будущность. Если Венеция представляла все величие прошлого, то Турин проявлял всю бодрость и силу настоящего. Здесь, как бы в маленьком фокусе, сосредоточивалась европейская жизнь во всем ее блеске, в идеальном благородстве ее стремлений и надежд. Окунуться в эту

атмосферу, насквозь проникнуться оживляющим ее могучим дыханием свободы,— это было событием в жизни, оставляющим в душе неизгладимые следы. Не могу без удивления подумать о тех молодых людях, которые, как Добролюбов, приехавши в Турин и видя воочию это беспримерное движение, не только не испытывали на себе неудержимого к нему сочувствия, но с остервенением ополчились на Кавура и на его деятельность. На это нужно было все невежество, тупоумие и пошлость русского радикала новейшего фасона. И этого господина возводят в великие люди, делают из него учителя русского общества! ¹.

Турин, как город, построенный совершенно в новом вкусе, разбитый на квадраты, однообразный и пошлый, представлял немного любопытного; но прогулки по окрестностям были очаровательны. Мне памятна особенно одна. В компании разных молодых дипломатов мы отправились с вечера пешком на близлежащую гору, где стоит монастырь Суперга; мы хотели оттуда смотреть на восхождение солнца. Самое уже ночное шествие представляло нечто волшебное. Вверху, на глубине прозрачно-темного южного неба ярко сияли звезды, а внизу миллионы светящихся жучков, как живые бриллианты, летали во все стороны и садились на деревья, озаряя мрак своим фосфорическим блеском и придавая какое-то таинственное оживление упитальной неге итальянской ночи. Все это, однако, было ничто в сравнении с тем, что ожидало нас наверху. Когда мы после легкого отдыха взойшли на крышу монастыря, нам представилось зрелище, какого я другого не видал. С одной стороны солнце вставало в полном блеске над расстилающейся вдали цепью снежных Альпов, а с другой стороны надвигалась гроза. На темной туче блестела яркая, совершенно круглая радуга, которая прерывалась внизу лишь тенью от колокольни монастыря. Молнии зигзагами поминутно сверкали на заключенной в радуге черной пелене, гром грохотал непрерывно и после всякого удара на железной кровле слышался свист, подобный шипению воды, брошенной на раскаленную плиту. И все это: и небо, и монастырь, и окрестность, как бенгальским огнем освещалось красными лучами восходящего солнца. Мы стояли и любовались этою величественною и грозною картиною, пока дождь не заставил нас скрыться в монастырь. Когда же гроза миновалась и мы опять поднялись на крышу, мы увидели у ног своих всю равнину Пиземонта, облитую светлыми лучами весеннего солнца; после живительного дождя в прозрачном воздухе носилось благоухание прелестного май-

¹ Дело идет о корреспонденции Н. А. Добролюбова «Из Туриния» появившейся в «Современнике», 1861. № 3